

УДК 7.01

РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНЫХ ЭСТЕТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ПЕРВОМ «ФИЛОСОФИЧЕСКОМ ПИСЬМЕ» П. Я. ЧААДАЕВА*

**СУВОРОВА
ИРИНА
МИХАЙЛОВНА**

*доктор культурологии,
профессор кафедры философии и культурологии,
Петрозаводский государственный университет,
Институт истории, политических и социальных наук,
Петрозаводск, Российская Федерация,
suvormih@list.ru*

Ключевые слова:

Чаадаев
античная философия
Платон
Аристотель
возвышенное
низменное
мимезис

Аннотация:

актуальность исследования обусловлена необходимостью эстетического анализа текста известного публицистического произведения П. Я. Чаадаева, которое в истории философии было подробно изучено с этической, гносеологической, онтологической, теологической позиции, однако эстетический аспект специально не рассматривался. Проблема выявления рецепции античных эстетических категорий в самом известном отечественном философском письме первой половины XIX века связана со сменой культурных эпох и представляет интерес с точки зрения сохранения того содержания категорий эстетики, которое закладывалось еще Платоном и Аристотелем. В качестве методов использованы анализ текста и сопоставление содержания эстетических категорий античных философов и автора письма. В результате проведенного исследования выяснилось, что Чаадаев в своем письме использует рецепцию сократовского диалога, адаптированного для своего времени, что позволяет сделать вывод о приверженности автора античным традициям. Самыми востребованными эстетическими категориями у Чаадаева оказываются возвышенное и низменное, а также мимезис (в тексте «подражание»). В итоге выясняется, что автор письма, характеризуя западноевропейскую культуру, соотносит ее с категорией возвышенного, которое близко по своему содержанию с возвышенным у платоников и Псевдо-Лонгина. Противоположная ей категория низменного в аристотелевской трактовке с точки зрения Чаадаева более всего характеризует отечественную историю и культуру. Логичной выглядит найденная автором по результатам сравнения причина столь неприглядной картины отечественного бытия – это мимезис или подражание, в определении которого у Чаадаева явно прослеживаются как платоновские, так и аристотелевские смыслы. В результате в письме явно обнаруживается рецепция античных эстетических категорий. Однако можно отметить, что вся композиция произведения построена на противопоставлении возвышенного и низменного. Именно это

противопоставление создало сюжетный конфликт письма, которое взбудоражило его читателей в XIX веке и не оставляет никого равнодушным по сей день.

© 2022 Петрозаводский государственный университет

Получена: 03 октября 2022 года

Опубликована: 03 ноября 2022 года

Эстетические исследования в отечественных публицистических произведениях первой трети XIX века проводились на фоне критики «устаревавшего» классицизма, основанного на античной классике, и укрепляющей роли «прогрессивного» романтизма, устремленного к средневековой культуре. С точки зрения культурологии, это была типичная ситуация смены одного исторического типа другим в привычной классической парадигме развития культуры. Теоретическим источником новаторских романтических идей того периода в русской публицистике был, без сомнения, йенский романтизм в лице братьев Шлегелей, Новалиса, Шеллинга и других. От немецких классиков русские исследователи унаследовали не только эстетическую проблематику (смещение эстетических жанров и категорий, образ романтического героя и т. п.), но и главное противоречие между субъективной оценкой «плодов» Просвещения и объективацией исторического процесса.

Статьи, посвященные развитию истории, в том числе отечественной истории, регулярно публиковались в столичных журналах с начала века – в «Вестнике Европы», «Русском вестнике», «Сыне Отечества», «Соревнователе просвещения и благотворения», «Невском зрителе». Однако первым поистине историософским произведением русской публицистики стало первое (и единственное из восьми опубликованных в то время в России) «Философическое письмо» Петра Яковлевича Чаадаева, размещенное в 1836 году в «Телескопе» (№ 15) редактором Н. И. Надеждиным. Это произведение можно назвать опытом первопроходца, который сумел сформулировать фундаментальные положения отечественной историософии и, по сути, «истолковал человеческую историю в виде одного связного текста» [9: 57]. Недаром у самого автора это произведение называлось «Письма о философии истории», что подчеркивает фундаментальность замысла.

Традиционно первое «Философическое письмо» анализировали с точки зрения философии истории, философии права, онтологии, теологии, гносеологии и этики [2], [3], [4], [5], [6]. Следуя тексту первоисточника, исследователи в большинстве своем с указанных позиций рассматривали проблему «отсталости» России, судьбы и роли России в мировой истории, значение христианства для становления духовности в России. Однако мало кто из исследователей обращал внимание, что, помимо правовых, этических, религиозных, онтологических и гносеологических характеристик, автор обширно использует эстетические категории и оценки, задействуя язык эстетики. Более того, Чаадаев апеллирует не к популярной в то время романтической эстетике, а как раз наоборот – его строки наполнены категориями классической эстетики, берущей свое начало у Платона и Аристотеля. Таким образом, в тексте обнаруживается рецепция античного наследия в имплицитном виде, как указывала Т. Г. Мальчукова: «Античное наследие присутствует скрыто – в жанровых и стилистических традициях, в поэтическом языке, выходя на поверхность в таких литературных течениях, которые полемически дистанцировались от злобы дня, как английский эстетизм, творчество „парнасцев“ во Франции или сторонников „чистого искусства“ в России» [10: 7].

И, несмотря на то, что третье и четвертое «Философические письма» (неизвестные широкой читательской публике того времени) непосредственно анализируют проблемы искусства с эстетической точки зрения, именно текст первого письма представляет исследовательский интерес по причине отсутствия подобных изысканий в истории отечественной эстетики и вследствие необходимости обнаружения степени трансформации античных классических категорий эстетики в публицистическом произведении XIX века.

Выбранный Чаадаевым эпистолярный жанр отчасти соответствует духу уходящей просветительской эпохи, сделавшей этот жанр особенно популярным в России. С другой стороны, автор в письме использует известную со времен Сократа форму диалога, выбирая себе в собеседники современницу, которой не просто излагает свои соображения, но и вопрошает, спорит, поучает ее: «И, к примеру сказать, вы, сударыня, столь счастливо одаренная для восприятия всего доброго и истинного на свете, вы, как бы созданная для испытания всех самых сладостных и чистых душевных наслаждений, чего вы, спрашивается, достигли при всех этих преимуществах? А вы, сударыня, не всего ли лучше облечься в одежды смирения, столь приличные вашему полу? Поверьте, это лучше всего сможет успокоить смущение вашего духа и внести мир в ваше существование» [12: 17].

Такую манеру заочного диалога трудно назвать копией античного образца. Однако дух сократовской майевтики здесь однозначно присутствует: автор как бы «ведет» свою собеседницу от одного положения своей концепции историософии к другой, «проверяя» усвоенный урок и полагая, что он принесет пользу: «Тем не менее, я надеюсь, что облака, омрачающие сейчас ваше небо, однажды превратятся в благодатную росу и она оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце; и произведенное на вас действие нескольких ничего не стоящих слов служит мне верной порукой более значительных результатов, их непременно вызовет в будущем работа вашего собственного сознания» [12: 16].

Таким образом, обнаруженная рецепция формы античного диалога здесь редуцирована до двух собеседников (у античных философов – больше двух) и не имеет явного ответа собеседника, но опирается на предполагаемый ответ. Однако так же, как в сократовских диалогах, Чаадаев конечной целью своего письма видит достижение истины («Я должен был показаться вам желчным в отзывах о родине: однако же я сказал только правду и даже еще не всю правду» [12: 34]) что, безусловно, роднит его с классиками Античности.

Предметный анализ текста показал, что самыми востребованными эстетическими категориями в первом письме у Чаадаева были: возвышенное и низменное, а также мимезис.

С содержанием категории возвышенного Чаадаев связывает западноевропейские «бурные волнения», «великие пробуждения», «сильные страсти народов», когда они «наживают свои самые сильные и плодотворные идеи» [12: 19]. Аналогично в античной имплицитной эстетике понятие возвышенного было близко к божественному воодушевлению у провидцев, а также обозначало восхождение к божественной идее у платоников. В обоих случаях речь идет об осознаваемом состоянии выхода субъекта восприятия за пределы обыденного и повседневного, о впечатлении необъятности и несоразмерности явления, объекта или процесса с реальностью бытия самого человека. «Великие побуждения народов» Чаадаева вполне коррелируются со страстными переживаниями и патетическим настроением Псевдо-Лонгина в трактате «О возвышенном»: «Цель возвышенного не убеждать слушателей, а привести их в состояние восторга, так как поразительное всегда берет верх над убедительным и угождающим; поддаваться или сопротивляться убеждению – в нашей воле, изумление же могущественно и непреодолимо настолько, что воздействие его происходит помимо нашего желания. Мастерство в нахождении материала и стройный порядок в его расположении с трудом обнаруживаются только во всем произведении, но не в отдельных его частях. Возвышенное же при его удачном применении, подобно удару грома, ниспровергает все прочие доводы, раскрывая сразу же и перед всеми мощь оратора» [11: 94].

Пожалуй, пафос и восторженность Чаадаева в описании исторических порывов европейских народов («Они тогда мечутся с неистовством, без ясной цели, но не без пользы для будущих поколений» [12: 19]) можно считать прямой рецепцией псевдо-лонгиновского взгляда на возвышенное, но уже в оценке автора XIX века.

В традициях античной эстетики Чаадаев противопоставляет возвышенному низменный пример, в данном случае относящийся к России: «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее иноземное владычество, жестокое и унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, – вот печальная история нашей юности» [12: 19]. Описывая содержание низменного в российской жизни, автор использует яркие выражения: «бесцветное и мрачное существование», «никаких прекрасных картин в памяти», «никаких действенных наставлений в национальной традиции» [12: 20]. Подобная категоричность в историософии Чаадаева выглядит достаточно спорной и спустя 200 лет, но в его бытность она стала основной причиной критики и травли самого автора. Хотя его мнение вполне соответствует представлению Аристотеля о низменном как о низости характера (Менелая в трагедии Еврипида «Орест»), которая не вызвана необходимостью.

Ведь у Чаадаева речь идет о низости характера народа, который отличается «легковесностью» и для которого характерна «беспечность жизни без опыта и предвидения, не имеющая отношения ни к чему, кроме призрачного существования личности, оторванной от своей среды, не считающейся ни с честью, ни с успехами какой-либо совокупности идей и интересов, ни даже с родовым наследием данной семьи и со всеми предписаниями и перспективами, которые определяют и общественную и частную жизнь в строе, основанном на памяти о прошлом и на тревоге за будущее. В наших головах нет решительно ничего общего, все там обособлено и все там шатко и неполно» [12: 23].

В подтверждение своих слов Чаадаев использует три образа, которые также отражают крайнюю степень безобразного – это образ «плоского застоя», который в России ограничен лишь настоящим временем, образ «растленной Византии», которую презирали другие народы и образ немых лиц наших земляков, у которых «во взгляде есть что-то до странности неопределенное, холодное, неуверенное,

напоминающее отличие народов, стоящих на самых низших ступенях социальной лестницы» [12: 23]. Подобная образность не только иллюстрирует низменное в русской жизни, но и усиливает контраст историософского описания Европы и России.

В результате историософского сопоставления возвышенного и низменного в своем письме Чаадаев логично приходит к выводу о причине подобного контраста: «Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подражательной» [12: 21], уточняя, что это – «слепое, поверхностное, часто бестолковое подражание другим народам» [12: 23]. И здесь мы обнаруживаем рецепцию аристотелевского взгляда на подражание (мимезис), который предполагал, что «так как все подражающие подражают лицам действующим, а действующие необходимо бывают или хорошими, или дурными, то очевидно, что каждое из подражаний будет иметь те же различия и, таким образом, само будет различно» [1: 647].

Таким образом, следуя логике Аристотеля, можно сделать вывод, что результат подражания отечественной культуры западным образцам соответствует в определенной мере самим этим разнородным образцам. Чаадаев допускает в своем письме наличие негативных западноевропейских образцов, но в его представлении о мимезисе акцент делается именно на особенностях воспринимающего: «Мы воспринимаем идеи только в готовом виде; поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний» [12: 21]. Отсутствие способности оптимального мимезиса у соотечественников Чаадаев связывает по Аристотелю с целесообразностью, а точнее с отсутствием цели этого подражания: «Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели». И далее, аналогично Аристотелю, который рассматривал Бога как квинтэссенцию разума, Чаадаев определяет Бога главной целью «созревания умов по западному образцу» и нравственного воспитания: «...необходимо стремиться всеми способами оживить наши верования и наше воистину христианское побуждение, ибо ведь там все совершило христианство. Так вот что я имел в виду, говоря о необходимости снова начать у нас воспитание человеческого рода» [12: 29].

Таким образом, автор письма решает проблему совершенствования своего народа через усиление влияния христианства на души людей, что вполне соответствовало его личному мировоззрению истового верующего.

Проводя параллель между мимезисом Чаадаева и мимезисом Платона, можно обнаружить сходство в определении подражания как «максимально субъективного и оторванного от объективной действительности... связанное с настоящим моральным разложением, безнравственным, низменным и развратным» [8: 35] в контексте основной платоновской эстетической теории. Подобно Платону, который рассуждал о «подражающей массе, или подражающем народе» в «Тимее», Чаадаев заявляет: «Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них нет ничего; все их знание поверхностно, вся их душа вне их. Таковы же и мы» [12: 21]. Таким образом, в оценке подражания как способа развития социума Чаадаев солидаризируется с Платоном, отмечая бесплодность и бесперспективность этого способа для любого народа.

В итоге, анализ текста первого «Философического письма» П. Я. Чаадаева показал, что автор использует в своих историософских описаниях эстетические категории возвышенного, низменного и мимезиса в их классическом понимании, описанном Платоном, Аристотелем и Псевдо-Лонгином. Рецепция античного наследия в данном публицистическом произведении является закономерной, так как сам автор получил классическое образование и оставался приверженцем классики в манере изложения своих идей. Контрастное сопоставление историософских представлений о Европе и России с использованием эстетических категорий возвышенного и низменного составило сюжетный конфликт письма как основу оригинальной композиции произведения. Использование эстетических категорий и оценок позволило автору сделать свое послание эмоционально насыщенным, что не оставило равнодушными читателей не только XIX века, но и последующих поколений.

*Исследование выполнено за счет гранта

Российского научного фонда № 22-18-00423, <https://rscf.ru/project/22-18-00423/>

Список литературы

1. Аристотель. Поэтика // Соч. в 4-х т, Т.4. М : Мысль, 1983. 829 с.
2. Возилов В. В. Омнизм и нигилизм: Метафизика и историософия интеллигенции России. Иваново: Референт. 2005. 412с.

3. Гершензон М. О. П. Я. Чаадаев. Жизнь и мышление. СПб.: тип. М. М. Стасюлевича. 1908. 325с.
4. Зеньковский, В. В. История русской философии. Т. 1. М.: Высшая школа. 1991. 196с.
5. Карсавин, Л. П. Основы политики. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн / ред.-сост.: Л. И. Новикова, И. Н. Сиземская. М.: Наука. 1993. С. 174 – 216.
6. Кожин, В. В. Победы и беды России. М.: Эксмо-Пресс. 2002. 573с.
7. Левицкий, С. А. Очерки по истории русской философии. М.: Канон. 1996. 496 с.
8. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. М : Искусство, 1974. 599с.
9. Лотман Ю.М. О понятии «история как текст»// Структура художественного текста, М.: 1970. С.265-280.
10. Мальчукова Т.Г. Античные и христианские традиции в изображении человека и природы в творчестве А.С. Пушкина. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2007. - 483, [2] с.
11. Псевдо-Лонгин. «О возвышенном». Перевод, статьи и примечания Н.А. Чистяковой. Москва-Ленинград: Издательство «Наука», 1966. 150 с.
12. Чаадаев П.Я. Сочинения М: Правда, 1989. 655с.

REFERENCES

1. Aristotle. Poetics // Op. in 4 volumes, Vol.4. M: Thought, 1983. 829 p.
2. Vozilov V. V. Omnism and Nihilism: Metaphysics and historiosophy of the intelligentsia of Russia. Ivanovo: Referent. 2005. 412 p.
3. Gershenzon M. O. P. Ya. Chaadaev. Life and thinking. St. Petersburg: type. M. M. Stasyulevich. 1908. 325 p.
4. Zenkovsky, V. V. History of Russian philosophy. Vol. 1. M.: Higher School. 1991. 196 p.
5. Karsavin, L. P. Fundamentals of politics. Russia between Europe and Asia: The Eurasian Temptation / ed.-comp.: L. I. Novikova, I. N. Sizemskaya. M.: Nauka. 1993. pp. 174 – 216.
6. Kozhinov, V. V. The Victories and Troubles of Russia. Moscow: Eksmo-Press. 2002. 573 p.
7. Levitsky, S. A. Essays on the history of Russian philosophy. Moscow: Canon. 1996. 496 p .
8. Losev A.F. History of ancient aesthetics. High classics. Moscow : Iskusstvo, 1974. 599 p.
9. Lotman Yu.M. On the concept of "history as a text"// The structure of a literary text, Moscow: 1970. pp.265-280.
10. Malchukova T.G. Ancient and Christian traditions in the depiction of man and nature in the works of A.S. Pushkin. Petrozavodsk : Publishing House of PetrSU, 2007. - 483, [2] p.
11. Pseudo-Longinus. "About the sublime." Translation, articles and notes by N.A. Chistyakova. Moscow-Leningrad: Nauka Publishing House, 1966. 150 p.
12. Chaadaev P.Ya. Essays M: Pravda, 1989. 655 p.

RECEPTION OF ANCIENT AESTHETIC CATEGORIES IN PYOTR CHAADAYEV'S FIRST "PHILOSOPHICAL LETTER"

SUVOROVA
Irina

*Doctor of Culturology,
Professor of the Department of Philosophy and Cultural
Studies,
Petrozavodsk State University, Institute of History,
Political and Social Sciences,
Petrozavodsk, Russian Federation, suvormih@list.ru*

Keywords:

Chaadayev
ancient philosophy
Plato
Aristotle
sublime
base
mimesis

Summary:

The relevance of the study is due to the need for an aesthetic analysis of a famous journalistic work of Pyotr Chaadayev, which in the history of philosophy has been studied in detail from the ethical, epistemological, ontological, and theological perspectives, but the aesthetic aspect has been overlooked. The problem of identifying the reception of ancient aesthetic categories in the most famous Russian philosophical letter of the first half of the 19th century is associated with a change of cultural eras and is of interest in terms of preserving the content of the categories of aesthetics that was laid down by Plato and Aristotle. The research methodology includes the text analysis method and the comparison of the content of aesthetic categories of ancient philosophers and Chaadayev. The study revealed that Chaadaev in his letter uses the reception of the Socratic dialogue, adapted for his time, which suggests the author's commitment to ancient traditions. Chaadaev's most popular aesthetic categories are the sublime and the base, as well as mimesis (he uses the word "imitation" in his letter). As a result, it turns out that while characterizing Western European culture the philosophical letter's author correlates it with the category of the sublime, which is close in content to the sublime of the Platonists and Pseudo-Longinus. The opposite category of the base in the Aristotelian interpretation, from Chaadaev's point of view, best describes Russian history and culture. According to the results of the comparison, the reason for such a bitter picture of domestic existence found by the author seems logical - it lies in the mimesis or imitation, which in Chaadaev's definition clearly manifests the traces of both Platonic and Aristotelian meanings. As a result, the letter obviously demonstrates the reception of ancient aesthetic categories. However, it can be noted that the entire composition of the work is built on the contrast between the sublime and the base. It was this contrast that created the plot conflict of the letter, which caused a stir among the nineteenth-century readers and leaves no one indifferent to this day.